



## Перед занавесом

**Ч**увство глубокой грусти охватывает Кукольника, когда он сидит на подмостках и смотрит на Ярмарку, гомонящую вокруг. Здесь едят и пьют без всякой меры, влюбляются и изменяют, кто плачет, а кто радуется; здесь курят, плутуют, дерутся и пляшут под пиликанье скрипки; здесь шатаются буяны и забияки, повесы подмигивают проходящим женщинам, жулье шныряет по карманам, полицейские глядят в оба, шарлатаны (не мы, а другие, чума их задави) бойко зазывают публику; деревенские олухи тарашатся на мишурные наряды танцовщиц и на жалких, густо нарумяненных старикашек клоунов, между тем как ловкие ворышки, подкравшись сзади, очищают карманы зевак. Да, вот она, *Ярмарка тщеславия*; место нельзя сказать чтобы назидательное, да и не слишком веселое, несмотря на царящий вокруг шум и гам. А посмотрите вы на лица комедиантов и шутов, когда они не заняты делом и Том-дурак, смыв со щек краску, садится полдничать со своей женой и маленьким глупышкой Джеком, укрывшись за серой холстиной. Но скоро занавес поднимут, и вот уже Том опять кувыркается через голову и орет во всю глотку: «Наше вам почтение!»

Человек, склонный к раздумью, случись ему бродить по такому гульбищу, не будет, я полагаю, чересчур удручен ни своим, ни чужим весельем. Какой-нибудь смешной или трогательный эпизод, быть может, умилил его или позабавит: румяный мальчуган, заглядевшийся на лоток с пряниками; хорошенькая плутовка, краснеющая от любезностей своего кавалера, который выбирает ей ярмарочный подарок; или Том-дурак — прикорнувший поза-

ди фургона бедняга сосет обглоданную кость в кругу своей семьи, которая кормится его скоморошеством. Но все же общее впечатление скорее грустное, чем веселое. И, вернувшись домой, вы садитесь, все еще погруженный в глубокие думы, не чуждые сострадания к человеку, и беретесь за книгу или за прерванное дело.

Вот и вся мораль, какую я хотел бы предпослать своему рассказу о Ярмарке тщеславия. Многие самого дурного мнения о ярмарках и сторонятся их со своими чадами и домочадцами; быть может, они и правы. Но люди другого склада, обладающие умом ленивым, снисходительным или насмешливым, пожалуй, согласятся заглянуть к нам на полчаса и посмотреть на представление. Здесь они увидят зрелища самые разнообразные: кровопролитные сражения, величественные и пышные карусели, сцены из великосветской жизни, а также из жизни очень скромных людей, любовные эпизоды для чувствительных сердец, а также комические, в легком жанре, — и все это обставлено подходящими декорациями и щедро иллюминировано свечами за счет самого автора.

Что еще может сказать Кукольник? Разве лишь упомянуть о благосклонности, с какой представление было принято во всех главнейших английских городах, где оно побывало и где о нем весьма благоприятно отзывались уважаемые представители печати, а также местная знать и дворянство. Он гордится тем, что его марионетки доставили удовольствие самому лучшему обществу нашего государства. Знаменитая кукла Бекки проявила необычайную гибкость в суставах и оказалась весьма проворной на проволоке; кукла Эмилия, хоть и снискавшая куда более ограниченный круг поклонников, все же отделана художником и разодета с величайшим старанием; фигура Доббина, пусть и неуклюжая с виду, пляшет преестественно и презабавно; многим понравился танец мальчиков. А вот, обратите внимание на богато разодетую фигуру Нечестивого вельможи, на которую мы не пожалели никаких издержек и которую в конце этого замечательного представления унесет черт.

Засим, отвесив глубокий поклон своим покровителям, Кукольник уходит, и занавес поднимается.

*Лондон, 28 июня 1848 г.*

## Глава I

### Чизикская аллея

**О**днажды ясным июньским утром, когда нынешний век был еще зеленым юнцом, к большим чугунным воротам пансионата для молодых девиц под началом мисс Пинкертон, расположенного на Чизикской аллее, подкатила со скоростью четырех миль в час вместительная семейная карета, запряженная парой откормленных лошадей в блестящей сбруе, с откормленным кучером в треуголке и парике. Как только экипаж остановился у ярко начищенной медной доски с именем мисс Пинкертон, чернокожий слуга, дремавший на козлах рядом с толстяком кучером, расправил кривые ноги, и не успел он дернуть за шнурок колокольчика, как, по крайней мере, два десятка юных головок выглянуло из узких окон старого внушительного дома. Зоркий наблюдатель мог бы даже узнать красный носик добродушной мисс Джемаймы Пинкертон, выглянувший из-за горшков герани в окне ее собственной гостиной.

— Это карета миссис Седли, сестрица, — доложила мисс Джемайма. — Звонит чернокожий лакей Самбо. Представьте, на кучере новый красный жилет!

— Вы закончили все приготовления к отъезду мисс Седли, мисс Джемайма? — спросила мисс Пинкертон, величественная дама — хэммерсмитская Семирамида, друг доктора Джонсона, доверенная корреспондентка самой миссис Шапон.

— Девочки поднялись в четыре утра, чтобы уложить ее сундуки, сестрица, — отвечала мисс Джемайма, — и мы собрали ей целый пук цветов.

— Скажите «букет», сестра Джемайма, так будет благороднее.

— Ну хорошо, букет, и очень большой, чуть ли не с веник. Я положила в сундук Эмилии две бутылки гвоздичной воды для миссис Седли и рецепт приготовления.

— Надеюсь, мисс Джемайма, вы приготовили счет мисс Седли? Ах, вот он! Очень хорошо! Девяносто три фунта четыре шиллинга. Будьте добры адресовать его Джону Седли, эсквайру, и запечатать вот эту записку, которую я написала его супруге.

Для мисс Джемаймы каждое собственноручное письмо ее сестры, мисс Пинкертон, было священно, как послание какой-нибудь коронованной особы. Известно, что мисс Пинкертон самолично писала родителям учениц только в тех случаях, когда ее питомицы покидали заведение или же выходили замуж, да еще как-то раз, когда бедняжка мисс Берч умерла от скарлатины. По мнению мисс Джемаймы, если что и могло утешить миссис Берч в утрате дочери, то, конечно, только возвышенное и красноречивое послание, в котором мисс Пинкертон сообщала ей об этом событии.

На этот раз записка мисс Пинкертон гласила:

«Чизикская аллея, июня 15-го дня 18.. г.

Милостивая государыня!

После шестилетнего пребывания мисс Эмилии Седли в пансионе я имею честь и удовольствие рекомендовать ее родителям в качестве молодой особы, вполне достойной занять подобающее положение в их избранном и изысканном кругу. Все добродетели, отличающие благородную английскую барышню, все совершенства, подобающие ее происхождению и положению, присущи милой мисс Седли; ее *прилежание и послушание* снискали ей любовь наставников, а прелестной кротостью нрава она расположила к себе все сердца, как *юные*, так и более *пожилые*.

В музыке и танцах, в правописании, во всех видах вышивания и рукоделия она, без сомнения, осуществит самые *пламенные пожелания* своих друзей. В географии ее успехи оставляют желать лучшего; кроме того, рекомендуется в течение ближайших трех лет неукоснительно пользоваться по четыре часа в день спинной линейкой, как средством для приобретения той достой-

ной осанки и грации, которые столь необходимы каждой *светской* молодой девице.

В отношении правил благочестия и нравственности мисс Седли покажет себя достойной того заведения, которое было почтено посещением *Великого лексикографа* и покровительством несравненной миссис Шапон. Покидая Чизик, мисс Эмилия увозит с собою привязанность подруг и искреннее расположение начальницы, имеющей честь быть Вашей, милостивая государыня,

покорнейшей и нижайшей слугой,  
*Барбарою Пинкертоном.*

P.S. Мисс Седли едет в сопровождении мисс Шарп. Особая просьба: пребывание мисс Шарп на Рассел-сквер не должно превышать десяти дней. Знатное семейство, с которым она договорилась, желает располагать ее услугами как можно скорее».

Закончив письмо, мисс Пинкертоном приступила к начертанию своего имени и имени мисс Седли на титуле Словаря Джонсона — увлекательного труда, который она неизменно преподносила своим ученицам в качестве прощального подарка. На переплете было вытиснено: «Молодой девице, покидающей школу мисс Пинкертоном на Чизикской аллее, — обращение блаженной памяти досточтимого доктора Сэмюэла Джонсона». Нужно сказать, что имя лексикографа не сходило с уст величавой дамы и его памятное посещение положило основу ее репутации и благосостоянию.

Получив от старшей сестры приказ достать Словарь из шкафа, мисс Джемайма извлекла из упомянутого хранилища два экземпляра книги, и когда мисс Пинкертоном кончила надписывать первый, Джемайма не без смущения и робости протянула ей второй.

— Для кого это, мисс Джемайма? — произнесла мисс Пинкертоном с ужасающей холодностью.

— Для Бекки Шарп, — ответила Джемайма, трепеща всем телом и слегка отвернувшись, чтобы скрыть от сестры румянец, заливший ее увядшее лицо и шею. — Для Бекки Шарп: ведь и она уезжает.

— МИСС ДЖЕМАЙМА! — воскликнула мисс Пинкертоном. (Выразительность этих слов требует передачи их прописными

буквами.) — Да вы в своем ли уме? Поставьте Словарь в шкаф и впредь никогда не позволяйте себе подобных вольностей!

— Но, сестрица, ведь всей книге цена два шиллинга десять пенсов, а для бедняжки Бекки это такая обида.

— Пришлите мне сейчас же мисс Седли, — сказала мисс Пинкертон.

И бедная Джемайма, не смея больше произнести ни слова, выбежала из комнаты в полном расстройстве чувств.

Мисс Седли была дочерью лондонского купца, человека довольно состоятельного, тогда как мисс Шарп училась в пансионе на положении освобожденной от платы ученицы, обучающей младших, и, по мнению мисс Пинкертон, для нее и без того было довольно сделано, чтобы еще удостаивать ее на прощанье высокой чести поднесения Словаря.

Хотя письмам школьных наставниц можно доверять не больше, чем надгробным эпитафиям, однако случается, что почивший и на самом деле заслуживает всех тех похвал, которые каменотес высек над его останками: он действительно был примерным христианином, преданным родителем, любящим чадом, супругой или супругом и воистину оставил безутешную семью, оплакивающую его. Так и в училищах, мужских и женских, иной раз бывает, что питомец вполне достоин похвал, расточаемых ему беспристрастным наставником. Мисс Эмилия Седли принадлежала к этой редкой разновидности молодых девиц. Она не только заслуживала всего того, что мисс Пинкертон написала ей в похвалу, но и обладала еще многими очаровательными свойствами, которых не могла видеть эта напыщенная и престарелая Минерва вследствие разницы в положении и возрасте между нею и ее воспитанницей.

Эмилия не только пела, словно жаворонок или какая-нибудь миссис Биллингтон, и танцевала, как Хилисберг или Паризо, она еще прекрасно вышивала, знала правописание не хуже самого Словаря, а главное, обладала таким добрым, нежным, кротким и великодушным сердцем, что располагала к себе всех, кто только к ней приближался, начиная с самой Минервы и кончая бедной судомойкой или дочерью кривой пирожницы, которой позволялось раз в неделю сбывать свои изделия пансионеркам. Из двадцати четырех товаров у Эмилии было двенадцать закадычных подруг. Даже завистливая мисс Бригс никогда не отзывалась о

ней дурно; высокомерная и высокородная мисс Солтайр (внучка лорда Декстера) признавала, что у нее благородная осанка, а богачка мисс Суорц, курчавая мулатка с Сент-Китса, в день отъезда Эмилии разразилась таким потоком слез, что пришлось послать за доктором Флоссом и одурманить ее нюхательными солями. Привязанность мисс Пинкертон была, как оно и должно, спокойной и полной достоинства, в силу высокого положения и выдающихся добродетелей этой леди, зато мисс Джемайма уже не раз принималась рыдать при мысли о разлуке с Эмилией; если бы не страх перед сестрой, она впала бы в форменную истерику, под стать наследнице с Сент-Китса (с которой взималась двойная плата). Но такое роскошество в изъявлении печали позволительно только воспитанницам, занимающим отдельную комнату, между тем как честной Джемайме полагалось заботиться о счетах, стирке, штопке, пудингах, столовой и кухонной посуде да наблюдать за прислугой. Однако стоит ли нам ею интересоваться? Весьма возможно, что с этой минуты и до скончания века мы уже больше о ней не услышим, и как только узорчатые чугунные ворота закроются, ни она, ни ее грозная сестра не покажутся более из них, чтобы шагнуть в маленький мирок этого повествования.

Но с Эмилией мы будем видеться очень часто, а потому не мешает сказать в самом же начале нашего знакомства, что она была прелестным существом; а это великое благо и в жизни и в романах (последние в особенности изобилуют злодеями самого мрачного свойства), когда удастся иметь своим неизменным спутником такое невинное и доброе создание! Так как она не героиня, то нет надобности описывать ее: боюсь, что нос у нее несколько короче, чем это желательно, а щеки слишком уж круглы и румяны для героини. Зато ее лицо цвело здоровьем, губы — свежестью улыбки, а глаза сверкали искренней, неподдельной жизнерадостностью, кроме тех, конечно, случаев, когда они наполнялись слезами, что бывало, пожалуй, слишком часто: эта дурочка способна была плакать над мертвой канарейкой, над мышкой, невзначай пойманной котом, над развязкой романа, хотя бы и глупейшего. А что касается неласкового слова, обращенного к ней, то если бы нашлись такие жестокосердные люди... Впрочем, тем хуже для них! Даже сама мисс Пинкертон, женщина суровая и величественная, после первого же случая перестала бранить Эми-



лию, и хотя была способна к пониманию чувствительных сердец не более, чем алгебры, однако отдала особый приказ всем учителям и наставницам обращаться с мисс Седли возможно деликатнее, так как строгое обхождение ей вредно.

Когда наступил день отъезда, мисс Седли стала в тупик, не зная, что ей делать: смеяться или плакать, — так как она была одинаково склонна и к тому и к другому. Она радовалась, что едет домой, и страшно горевала, что надо расставаться со школой. Уже три дня маленькая Лора Мартин, круглая сиротка, ходила за ней по пятам, как собачонка. Эмилии пришлось сделать и принять, по крайней мере, четырнадцать подарков и четырнадцать раз дать торжественную клятву писать еженедельно. «Посылай мне письма по адресу моего дедушки, графа Декстера», — наказывала ей мисс Солтайр (кстати сказать, род ее был из захудалых). «Не заботься о почтовых расходах, мое золотко, и пиши мне каждый день!» — просила пылкая, привязчивая мисс Суорц. А малютка Лора Мартин (оказавшаяся тут как тут) взяла подругу за руку и сказала, пытливо заглядывая ей в лицо: «Эмилия, когда я буду тебе писать, можно называть тебя мамой?»

Я не сомневаюсь, что какой-нибудь Джонс, читающий эту книгу у себя в клубе, не замедлит рассердиться и назовет все это глупостями — пошлыми и вздорными сантиментами. Я так и вижу, как оный Джонс (слегка покрасневший после порции баранины и полпинты вина) вынимает карандаш и жирной чертой подчеркивает слова: «пошлыми, вздорными» и т. д. и подкрепляет их собственным восклицанием на полях: «Совершенно верно!» Ну что ж! Джонс — человек обширного ума, восхищающийся великим и героическим как в жизни, так и в романах, — и лучше ему вовремя спохватиться и поискать другого чтения.

Итак, будем продолжать. Цветы, сундуки, подарки и шляпные картонки мисс Седли уже уложены мистером Самбо в карету вместе с потрепанным кожаным чемоданчиком, к которому чья-то рука аккуратно приколотла карточку мисс Шарп и который Самбо подал ухмыляясь, а кучер водворил на место с подобающим случаем фырканьем. И вот настал час разлуки. Его печаль была в значительной мере развеяна примечательной речью, с которой мисс Пинкертон обратилась к своей питомице. Нельзя сказать, чтобы это прощальное слово побудило Эмилию к философ-

ским размышлениям или же вооружило ее тем спокойствием, которое осеняет нас в результате глубокомысленных доводов. Нет, речь эта была невыносимо скучна, напыщенна и суха, да и самый вид грозной воспитательницы не располагал к бурным проявлениям печали. В гостиной было предложено угощение: тминные сухарики и бутылка вина, как это полагалось в торжественных случаях, при посещении пансиона родителями воспитанниц; и когда угощение было съедено и выпито, мисс Седли получила возможность тронуться в путь.

— А вы, Бекки, не зайдете проститься с мисс Пинкертон? — обратилась мисс Джемайма к молодой девушке: не замеченная никем, она спускалась с лестницы со шляпной картонкой в руках.

— Я полагаю, что должна это сделать, — спокойно ответила мисс Шарп, к великому изумлению мисс Джемаймы; и когда мисс Джемайма постучалась в дверь и получила разрешение войти, мисс Шарп вошла с весьма непринужденным видом и произнесла на безукоризненном французском языке:

— *Mademoiselle, je viens vous faire mes adieux\**.

Мисс Пинкертон не понимала по-французски, она только руководила теми, кто знал этот язык. Закусив губу и вздернув украшенную римским носом почтенную голову (на макушке которой покачивался огромный пышный тюрбан), она процедила сквозь зубы: «Мисс Шарп, всего вам хорошего». Произнеся эти слова, хэммерсмитская Семирамида сделала мановение рукой, как бы прощаясь и вместе с тем давая мисс Шарп возможность пожать ее нарочито выставленный для этой цели палец.

Мисс Шарп только скрестила руки и с очень холодной улыбкой присела, решительно уклоняясь от предложенной чести, на что Семирамида с большим, чем когда-либо, негодованием тряхнула тюрбаном. Собственно говоря, это была маленькая баталия между молодой женщиной и старой, причем последняя оказалась побежденной.

— Да хранит вас Бог, дитя мое! — произнесла она, обнимая Эмилию и грозно хмурясь через ее плечо в сторону мисс Шарп.

— Пойдем, Бекки! — сказала страшно перепуганная мисс Джемайма, увлекая за собой молодую девушку, и дверь гостиной навсегда закрылась за строптивицей.

---

\* Мадемуазель, я пришла проститься с вами (*фр.*).